



## А. ГОРНФЕЛЬД

### Культура и культуришка

(150 000 000. Государственное издательство. М. 1921)

Имени автора нет на заглавном листе брошюры. Это имеет высокий смысл, ибо начало гласит:

150 000 000 мастера этой поэмы имя...

150 000 000 говорят моими губами.

Однако, так как Маяковский неоднократно читал публично эту поэму как свою, то мы не нарушим никакой тайны, обойдя эту раскрытую анонимность.

Скромности нет в этом отказе от авторства. Всякому лестно сказать: это не я сочинил, устами моими говорят полтораста миллионов русских граждан: великая народная стихия избрала меня глашатаем своим. Беда только в том, что в притязаниях своих Маяковский не является единственным: эти полтораста миллионов, как известно, ответственны за все, что сказано на их языке: и за интимные признания нежного лирика, и за площадную ругань, принявшую литературное обличье, и за взлеты гения, и за провалы бездарности; у Маяковского здесь нет никаких, буквально никаких преимуществ, скажем, пред Блоком. Верно, однако, то, что в этой народной стихии есть хорошее и есть дурное, есть внешнее и есть глубокое, есть ценное для мира и есть этим миром давно пережитое и отброшенное. Полтораста миллионов — это абстракция, и абстракция несовременная. Они прежде всего распадаются на классы и — чего незнанием ныне отговариваться никто не может — явиться одновременно выразителем помышлений всех этих классов никак невозможно. Быть поэтом всенародным — претензия во всяком случае к нашему укладу не подходящая. Кроме всего прочего — ведь среди

этих полутораста миллионов есть добродетельные и порочные, благомыслящие и злопыхательные, мудрецы и остолопы: не все же они говорят устами Маяковского. А если его устами и говорит большинство, то это не значит, что оно говорит то, что следует. Ибо поэзия есть истина, а истина не решается большинством голосов.

Поэма Маяковского говорит о великом всемирном бунте против отжившей культуры. В Америке Вильсон «сидит раззолоченный за чаем с пти-фур», «заплывший в сале». На него идет всемогущая бунтарская стихия. Стихия эта воплощена в мятежной России:

Россия не нищий оборвыш,  
не куча обломков,  
не зданий пепел  
Россия  
вся  
единый Иван  
и рука  
у него  
Нева,  
а пятки — каспийские степи.

«Гром разодрал побережий уши, и брызги взметнулись земля за тридевять, когда Иван, шаги обрушив, пошел грозой вселенную выдвить». И он «выдвигил». «Чикаго спит обтанцован, рыхотелье подушками выхоля», а Иван идет на Вильсона через океан. Пришел и, конечно, победил. У Вильсона все ухищрения — «револьвер в четыре курка, сабля в семьдесят лезвий гнута, а у этого рука, и у того рука, да и та за пояс ткнута»; Вильсон бьет Ивана и заразами, и ядовитыми идеями, но ничего не поделаешь: «испепелен он, задом придавить пытавшийся солнце». Погиб весь мир Вильсона, не только его внешний быт, его механические ухищрения, его орудия и оружие; погиб его дух, его наука, его искусство. В «полные собрания сочинений», как в норки, классики забились — но жалости нет. «Напрасно их наседкой Горький прикрыл, распутив изношенный авторитет... Футуристы прошлое разгромили, пустив по ветру культуришки конфетти».

И рай воцарился на обновленной земле после этой победы Ивана. «На площади зелени, на бывшей Сахаре ежегодное торжество» — «мировой парад», на который съезжаются на поездах, на эскадрах, слетаются на дирижаблях и аэропланах с отдаленнейших планет... Тут и реквием по усопшим, и восторги обновленного бытия.

Ну и катись среди весеннего лада,  
Цвети, земля, в молотье и сеятьбе...

Итак, история кончена, «культуришка» уничтожена, но молотья и сеятьба остались. Что молотья и сеятьба суть именно культура, об этом забыл поэт. И даже дирижабли остались. Классики уничтожены, гуманизмы уничтожены, а аэропланы целы. Какая бедность творческого воображения! Очевидно, создать и показать другие, невиданные формы культуры, не аэропланной, не Вильсоновской, поэту не под силу: он, подобно своему сверх-Ивану, способен на разрушение, но даже в мысли неспособен на общественное созидание; в этом он резко отличается от тех, к кому как будто иногда примыкает. Ведь когда социалисты, коммунисты, общественные утописты говорят о разрушении нынешней буржуазной, капиталистической культуры, они строят планы культуры будущей, и иногда строят с чрезвычайной, чрезмерной конкретностью. Роскоши этого представления о будущем не сможет разрешить себе небогатый Маяковский; а ведь тут иступленным криком и бранью ничего не возьмешь, тут надо верить не только в силу своего голоса и доверие своих почитателей, но и в созидательные силы человечества, то есть в культуру, тут надо представлять себе хоть с приблизительной отчетливостью, что вырастет на место испепеленного Вильсона. Об этом надо сказать, в это надо заставить нас поверить — кой-кто умеет это делать, — а без этого что же остается, кроме пустопорожного и бессильного визга?

## II

Скоро год, как Петербург слышал поэму Маяковского; с тех пор увидел он подлинного Ивана.

Эй, губернии,  
снимайтесь с якорей.  
За Тульской Астраханская,  
стоявшие недвижно при Адаме,  
двинулись.  
Сотни губерний...  
все, что может двигаться...  
лавою все это, лавою...

Донеслась эта лава и до столиц, и мы видим ее. Голодные, в отряпях, бежали эти астраханские и самарские мужики со своих мест. Засуха была во всей Европе, но голод поразил только

ту ее часть, которая бедна была культурой. Оборванные, несчастные бродят эти бедные люди по улицам большого города, прося о подаении Христа ради. И мольба об их спасении, об их пропитании летит туда, на Запад, за океан, и кормит их Вильсон, кормит во имя культуры, кормит с бесконечным пренебрежением к писку Маяковского. И не один Вильсон кормит. Кормит их прежде всего русская государственная власть: кормит посредством организации, кормит посредством администрации, кормит посредством транспорта. Кормит посредством культуры. Кормит и знает: без паровоза, без разумной иерархии сотен тысяч работников, без статистики, без трудовой дисциплины, без всемирного сотрудничества, без Красного Креста не спасешь голодных миллионов от голодной смерти. И, бесконечно различные, в этом едины Вильсон и Ленин: для них нет «культуришки»; так или иначе относясь к тем или иным формам и недугам культуры, они знают, что есть культура, и что они — культура. В этом им обоим диаметрально противоположен тот великий Иван, которого воспел Маяковский в своей новой поэме. Какая печальная старина слышится в этой самодовольной новизне! Этот непреодолимый русский Иван — ведь это наш старый-старый исконный Иванушка-дурачок русской народной сказки.

Вырывается у Вильсона стон  
и в болезнях побит и в еде  
и последнее войско высылает он —  
ядовитое войско идей.  
Демократизмы,  
гуманизмы  
идут и идут  
за измами измы.

Без *измов* думает обойтись Маяковский. Какой самообман в стране, четыре года перестраиваемой под знаменем *коммунизма*! Какой обман со стороны главы футуризма! Да если присмотреться, Маяковский весь по макушку застрял в *измах*, застрял в идеях, в предвзятых построениях, в теориях, в абстракциях. Нет большего недоразумения, как отождествление его со стихийным Иваном, великим, безыдейным, простым и могучим. Как бы ни надрывался в своем крике Маяковский, какими бы площадными грубостями ни щеголял, каким бы уличным озорством ни кокетничал, сам он не площадной, не уличный, а очень комнатный, кабинетный и культурный. Не митинг его публика, а любители, не Иван его ценитель, а интеллигенция. Сколько бы он ни швырялся «культуришкой», вне ее завоеваний, вне линии ее развития он немислим и ненужен. И это не плохо, а хоро-

шо в нем, потому что если он говорит свое слово, то говорит его в линии культурного развития, в чреде тех неустрашимых классиков, которых он — какая безграмотная иллюзия! — аннулирует футуристическим бахвальством. Его детские тенденции — увы, тоже освященные некоторой традицией русской литературы — остаются в пределах спорных *измов* и не решают вопроса о силе его слова. Бессильным писком оно кажется пред громами мировой жизни, пред грохотом созидательной работы человечества, но не бессильно оно в литературе. Беспомощна его историография, но выразительна его лирическая риторика. По-своему, по-неслышанному, с новой силой и яркостью она выражает пусть старые, пусть возмутительные, пусть ошибочные — не во всем ведь и ошибочные — мысли, и в этом смысле она тоже есть крупица этой общей созидательной культурной работы. Утонченная корявость Маяковского, его богохульства против прошлого, присущая ему настойчивая тенденция быть во что бы то ни стало реакцией против принятого — все это по-своему нужно, и все это рассчитано на аудиторию, с сознательным и бессознательным благоговением приемлющую традицию. Оскорбляя ее, он только приспособляется к ней. Оттого он одновременно силен и бессилён. Он силен в пафосе недовольства культурой, но он бессилён пред ее созидательной мощью, вместе с устранимым злом рождающею неустрашимое благо, неустрашимую правду. И понемногу начинает это понимать Маяковский — недаром начинает он признавать знаки препинания и таблицу умножения, недаром от желтой кофты возвращается к пиджаку. Блудный сын культуры, он все-таки ее порождение, и если бредит о ее разрушении футуристами или сверх-Иванами, то это только потому, что плохо усвоил ее себе, остался ее недоучкой, не уразумел того, что преодолеть культуру можно только культурой же, и в бессилии грозит и скандалит и — пред лицом неумолимой действительности — скандалится. Но не страшен его крик, не страшен скандал культуре.

1921

